

Хроника научной жизни

Международная конференция
**«XXVIII Большие Банные чтения:
“Трансформация гуманитарного знания
в постсоветской России”»**

(Журнал «Новое литературное обозрение», 1—3 апреля 2022 года)

DOI: 10.53953/08696365_2022_177_5_410

1—3 апреля состоялась XXVIII Международная конференция «Банные чтения», которая в этом году прошла в онлайн-формате и была посвящена рассмотрению отечественной гуманитаристики последних тридцати лет¹. Конференция была задумана уже некоторое время назад как ревизия произошедших в постсоветский период изменений в области дисциплин и подходов. Отвечая на вызов текущего дня, она отчетливо переориентировалась на размышления о судьбе профессии в современном политическом и культурном контексте. Перед исследователями встали следующие вопросы: чем может и должна заниматься сейчас мировая славистика и на что должен быть направлен фокус внимания ученого-гуманитария в России.

Во вступительном слове основатель «Нового литературного обозрения» *Ирина Прохорова* напомнила о том, что в этом году журнал празднует свое тридцатилетие. «Новое литературное обозрение» было создано в 1992 году в обстановке радикальной переоценки гуманитарного знания, в ощущении разрыва с советской традицией и необходимости поиска новых трендов и научных направлений. Сегодня же предстоит решить не менее радикальный вопрос: насколько гуманитарное знание готово к пересмотру имперской государственной истории, которая, несмотря на усилия большого количества ученых, продолжает быть главным вектором преподавательской и исследовательской работы.

Конференция открылась круглым столом «Науки о тексте и науки о действии», который был задуман как продолжение состоявшегося в 1996 году круглого стола «Философия филологии» (опубликован в: НЛО. 1996. № 17. С. 45—93). Тогда по инициативе Сергея Зенкина видные представители философии и филологии (Владимир Бибахин, Михаил Гаспаров, Борис Дубин, Андрей Зорин, Вера Мильчина,

1 Ссылки на запись трансляции конференции на сайте «Нового литературного обозрения» см.: <https://www.nlobooks.ru/events/konferentsii/xxviii-bannye-chteniya-transformatsiya-gumanitarnogo-znaniya-v-postsovetskoy-rossii/>

Валерий Подорога и др.) обсуждали состояние предметов своих исследований и дисциплин. Задача нового круглого стола заключалась в том, чтобы посмотреть на филологию со стороны, глазами других наук, других культурных дискурсов, что и предопределило приглашение к участию в нем не столько филологов, сколько представителей других дисциплин — политических философов в лице *Александра Филиппова* (НИУ ВШЭ, Москва) и *Олега Хархордина* (Европейский университет, Санкт-Петербург), философа *Михаила Маяцкого* (Лозаннский университет, Швейцария) и медиолога *Павла Арсеньева* (Женевский университет, Швейцария).

Модератор круглого стола *Сергей Зенкин* (РГГУ / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург / Свободный университет) отметил, что в основу проекта круглого стола была положена идея произошедшего за последние тридцать лет изменения воображаемой иерархии наук: царица гуманитарных наук в Советском Союзе, филология, уступила место другим наукам, прежде всего общественным. Как в российском, так и в мировом измерении наблюдается поворот науки от изучения текста (филологии) к изучению действия (социальные науки). «В той ситуации, которая называется сегодня ситуация постправды, когда любые тексты, любые слова воспринимаются как сомнительные и мало авторитетные, именно социальные науки, науки о действии, — полагает Сергей Зенкин, — могли бы создать новую эпистемологическую базу для обновления филологических исследований». Вопрос о возможном альянсе наук о тексте и наук о действии и задал рамку для последующей дискуссии.

В начале своего выступления Александр Филиппов упомянул о печальных обстоятельствах, в которых мы находимся, сказав, что какие-то жалобы на будущее гуманитарных наук в Москве, могут восприниматься с удивлением людьми в Харькове, Днепропетровске или Киеве. В печальных обстоятельствах, по мнению докладчика, находятся сегодня и науки в России. Отсеченные от глобального контекста, они рискуют оказаться в ситуации позднего Советского Союза, когда чтение с трудом добытого текста приравнялось к ложному ощущению причастности мировой науке. Но наука не делается в библиотеке, говорит докладчик, она делается в лаборатории, в курилке, на конференции, в ситуации личного общения, в обстановке передачи знания из рук в руки.

В своем сообщении «*Что значит быть наукой о действительности?*» Александр Филиппов предложил рассмотреть социологию (по определению М. Вебера «науку о действительности») как науку о смысле. Размышляя о смысле действия, докладчик приходит к выводу, что смысл как ключевое понятие социологии, на которое опирались Макс Вебер и Николас Луман, оказывается не способным схватить *действительность*: из смысла действия не выводится действительность, так же, как и описание смысла, анализ текста — это еще не сама действительность, говорит он. Расхождение между действительностью и смыслом Александр Филиппов показывает с помощью понятия «абсолютное событие», примером которого можно считать рождение или смерть. С точки зрения Лумана, говорит он, нет разницы между тем, чтобы съесть яблоко или убить человека: смерть прекращает индивидуальную жизнь, но это только в действительности. В тексте, в смысловых комплексах возможно все, вплоть до отмены смерти, если так захочет автор или его читатель. В таком случае, попробовать пробиться к действительности можно с помощью текста, как это предлагает герменевтика П. Рикёра, рассматривающая осмысленное действие как текст. Но тогда под видом действительности обнаруживается всего лишь еще один текст. Другая проблема социальных наук заключается в том, что события, которые они рассматривают, являются анонимными и воспринимаются только как пример других возможных событий. Докладчик показывает, что в этом социальные науки противоположны этике прямого морального вменения, при котором анонимное событие переписывается как результат морального

выбора того, кто лично действует здесь и сейчас. Последняя позиция представляется Александру Филиппову правильной, но она предполагает слишком быстрый отход из области прямых референций. Чтобы восстановить в правах значение, которое не растворяется ни в текстах, ни в смыслах необходимо установить прямую взаимосвязь между ответственным действием и его результатом, именно тогда, считает докладчик, когда этот результат нельзя не только отменить, но и заболтать.

Олег Хархордин продолжил проблематику, затронутую в предыдущем сообщении, сказав, что мы не обязаны копировать герменевтические методы, не обязаны размышлять о Рикёре равно как и не обязаны думать только о том, что надо интерпретировать социальное действие как текст. Напротив, продуктивно будет подойти к тексту и к действительности *гомилетически* (подробно о гомилетическом методе О. Хархордин писал в статье «Секуляризированная гомилетика: демонстрация метода?» (НЛО. 2007. №87. С. 61–81)). Как и герменевтика (искусство интерпретации библейского текста), гомилетика (искусство написания проповеди) — вспомогательная церковная дисциплина XIX века, которая получила свое воплощение в прозе Ф. Достоевского и впоследствии в советской пропаганде от Володарского до Сталина. Контраст герменевтики и гомилетики, заключается в том, что герменевтика — это отношение к актам как текстам, тогда как гомилетика — отношение к текстам как актам. Иначе говоря, это попытка исследования того эффекта или произведения такого текста, который имеет нечто большее, чем просто информативный характер, а именно: способность с помощью телесного воздействия заставить читателя трансформировать собственную жизнь и изменить понимание того, кто он есть.

Резюмируя, докладчик выразил уверенность в том, что гомилетика, свойственная российскому типу гуманитарного знания, способна стать основой оригинального отечественного подхода к тексту и действительности, предложив собственную альтернативу англо-американской лингвистической философии. «В современных обстоятельствах, — отметил Олег Хархордин, — когда наша профессиональная позиция заключается не только в том, *что* сказать, но и *как* сказать, гомилетика становится особенно актуальной».

Михаил Маяцкий, как и другие участники круглого стола, начал свое выступление с вопроса об ответственности и вине в современной ситуации. Цитируя пост филолога и политического мыслителя Дениса Драгунского, он отметил, что русская литература внесла свой вклад в создание представления о том, что русский народ особенный, и ему не писан никакой закон. Обратившись к диалектике стигмы Ирвинга Гофмана, согласно которому стигма (социальный изъян) может стать новой привилегией, Михаил Маяцкий выделил ключевую для русской философии «дефицитарную парадигму»: мотив ущербности русских (отсутствие истории, традиции, законов, мыслителей, идей), который оборачивается их привилегированностью. Обозначив основные сценарии развития философии периода перестройки, докладчик отметил, что наибольшее официальное признание получил сценарий «мыслить Россию» историософски, политико-идеологически, геополитически с той же позиции, что «русским закон не писан». Как заключил Михаил Маяцкий, все мы, живущие в России, связанные с Россией, пишущие, думающие на русском языке, оказались привилегированными узниками, которые своим творчеством должны отвлекать внимание от действий системы. В связи с этим, продолжил он, завтра нам может понадобиться наш Клемперер, чтобы анализировать язык, нам понадобится наш Адорно, чтобы увидеть и развенчать жаргон личности, и наш Ясперс, чтобы помочь разобраться с нашей виной и ответственностью.

Следующий участник круглого стола — Павел Арсеньев — пообещал выполнить возложенную на него миссию представить медиологию, но собственный ме-

тод он обозначил как смежную историю литературы и науки, куда медиология входит наряду с другими дисциплинами. Также он предупредил, что в своем выступлении неизбежно будет тяготеть к милитаризации как на уровне фразеологии, так и на уровне самого предмета разговора (для исследований медиаархеологического толка война довольно частый кейс). Действительно, благодаря фигуре своего основателя, главного идеолога, французского философа и политика Режи Дебре, медиология имеет самое что ни на есть милитантное происхождение. Долгое время Дебре был международным активистом, ближайшим соратником Эрнесто Че Гевары. Его интерес к прагматике коммуникации, как и к внутренней социологии интеллектуального поля, естественно вытекали из опыта его политической деятельности (внимание к перформативности речи, в которой он довольно быстро разочаруется) и главным образом его организационного опыта (отсюда интерес к исследованию тех материальных и организационных условий, в которых речь может стать успешной). Павел Арсеньев предположил, что убежденность Дебре в том, что одного изучения «действенности речей» недостаточно, была связана с его собственным опытом коммуникативных неудач. Докладчик припомнил и свой опыт активизма, когда в ходе «болотных» протестов восторг риторического креатива постепенно стал осмысляться как провалившийся — во многом потому, что свободная передача слова была осложнена институционально и чисто технически (вплоть до появления микрофона и ступеней, ведущих на сцену).

Продемонстрировать метод медиологии докладчик взялся на примере названия круглого стола, за которым прослеживается пушкинская формула «Слова поэта суть уже его дела». Романтическая философия языка относится к словам как к действиям, поэтому романтический поэт хотя и не может знать, «как слово наше отзовется», то в силу последствий не сомневается. Здесь и начинается территория медиологии с ее вниманием к физическим условиям распространения сигнала. Докладчик провел параллели с русскими формалистами, предложив собственную версию «техноформализма» и показав, что успешность высказывания связана не только с социальной ситуацией, но и с материально-технической средой, рассмотрение которой, к тому же, помогает историзировать высказывание.

Вторая секция первого дня «Российская империя в свете (пост)колониальных исследований» открылась докладом соредатора журнала «Ab Imperio» *Александра Семенова* (Центрально-Европейский университет, Австрия) «*От истории империи к историческому разнообразию*». Докладчик начал с того, что отметил триумфальное возвращение истории на трон «королевы наук и политики», который она потеряла в постсоветский период в связи с установлением неолиберальной модели образования и ее акцентом на прикладных компетенциях. Однако вместе с золотой короной у истории возникла и опасность исчезновения интеллектуального и методологического плюрализма. Отметив ряд проблем в изучении советской и постсоветской истории (изоляция, противопоставленность глобальной истории, представление о гомогенности советского исторического опыта и др.), Александр Семенов сосредоточился на современных исследованиях национализма и империи. Для этого поля характерны неприятие сложного профессионального языка, отказ от рефлексии над метаисторическими проблемами и структуралистский подход к исследованию разнообразия в прошлом (среди прочего тенденция к универсальному определению империи). На примере работ коллектива авторов «Ab Imperio» докладчик показал, как с помощью категории «имперской ситуации» можно создать альтернативу гомогенности (во временной перспективе в том числе) или запустить процесс «деколонизации» нарратива истории империи с помощью понятия «динамичной субъектности». Таким образом, империя в глазах исследова-

теля теряет связность долгого исторического времени, а прошлое предстает как череда разрывов. В условиях, когда история оказывается захвачена большим нарративом с его представлением о неизбежном историческом переходе от империи к нации, докладчик видит задачу историка в проблематизации перехода к нации с помощью высвечивания альтернативных политических видений и гибридных социальных и политических идентичностей. Сложный рассказ о прошлом рождает возможность плюралистичного выбора в будущем, заключил докладчик.

В дискуссии после доклада *Кевин Платт* (Пенсильванский университет, США) отметил, что расхождение между языками политического режима и режима историографического, профессионального, отмеченное в начале доклада как примета 1990-х, в общем-то является глобальным явлением, равно как и проблемный статус профессионального исторического дискурса в публичном пространстве, который можно наблюдать в Европе и в Америке.

Екатерина Болтунова (НИУ ВШЭ, Москва) согласилась с тем, что история — это наука о будущем и задала вопрос о содержании термина «динамичная субъектность» и его применимости к истории Российской империи. На что Александр Семенов ответил, что, в отличие от представления, характерного для постколониальных исследований, о безголосых субальтернах, которые не могут говорить, правильная историческая задача заключается в том, чтобы попытаться их разговорить («Историки с мертвыми говорят, и субальтернов сможем разговорить», — с энтузиазмом сказал он). Динамичность заключается в уходе от статической классификации по пространственному, этническому, религиозному, гендерному или классовому признакам, во внимании к тому, при каких условиях, и какие исторические субъекты делали выбор.

Кевин Платт возразил, что массовому потребителю истории, который смотрит канал истории, или политику, который простым нарративом обосновывает свои решения, не нужны сложные конструкции наподобие «динамичной субъектности». Как преодолеть границу между публичным пространством и профессиональным историческим сообществом, решающим сложные историографические вопросы об идентичности, как профессиональным историкам обрести вновь свой голос, не упростив чрезмерно нарратив? В ответ на эту реплику Александр Семенов призвал коллег не заниматься деконструкцией существующих нарративов, а создавать новые, альтернативные и привел в пример двухтомник «Новая имперская история Северной Евразии» (Казань, 2017), подготовленный исследователями «Ab Imperio». Кроме того, он предложил деконструировать представление о массах, за которым скрывается все та же националистическая логика, согласно которой существуют историки и массы.

Ирина Прохорова согласилась с тем, что удобная для элитарного сознания модель отсталости масс не может объяснить конфликт историков и общества. Обратившись к теме массового исторического воображения, она привела в пример исторические сериалы. Наиболее успешные из них связаны с идеализацией сословного общества или, например, представляют средневековую полумифологическую историю. Может быть, это и есть реакция на разговор о многообразии, текучести и неопределенности, который в массовом сознании оборачивается поиском упрощенных систем и незыблемого порядка?

Александр Семенов выразил сомнение, что спрямленная история на экранах также ровно прочитывается массовой аудиторией: не все люди ностальгируют по империи или готовы погрузиться в «Золотой век». Наличие подобных сериалов является, на его взгляд, не столько результатом спроса, сколько предложения. Индустрия воспитывает вкус и восприятие, создавая замкнутые дискурсы без разрывов, построенные вокруг репрезентации текста. Готовые гомогенные воспомина-

ния легко вытесняют плюрализм и демократизирующий потенциал исторической памяти, согласно которой каждый помнит по-своему.

Екатерина Болтунова в докладе «*Встреча с реальностью: рефлексия о регионе и в регионе*» отметила, что сейчас в академических исследованиях о российских регионах историческая регионалистика выходит на первый план. Вместе с тем дискуссии о методе и сущности региональной истории в России практически отсутствуют. Большая часть работ по истории регионов, продолжая краеведческую традицию, производится в самих регионах. В результате доминирует позиция изучения не региона как такового, а конкретного, «своего» региона. Кроме того, в исследованиях сохраняется централизация, а сам взгляд «из столиц», ориентированный на мировую повестку, имеет отчетливо колониальный характер и не считает работы в регионах обязательными к прочтению и цитированию. Что касается содержательной стороны исследования регионов, то в ней сохраняется оппозиция «центр — периферия», роль субъекта зачастую отводится национальности, а постановка вопроса об изучении региона нередко приравнивается к анализу этноконфессиональных различий. Докладчица сделала вывод, что сегодня перед отечественной регионалистикой стоят две схожие задачи: с одной стороны, найти возможность говорить о регионе как о субъекте истории, а не просто как о «площадке» для событий, с другой стороны, саму региональную российскую науку сделать полноценным субъектом академического пространства. При этом важно прийти к взаимному признанию субъектности, как со стороны регионов, так и со стороны столиц, считает Екатерина Болтунова.

В дискуссии после доклада Александр Семенов не согласился с тем, что речь идет о взаимном признании сторон. Признание, по его мнению, всегда ведет в тупик, лишь указывая на наличие границы, к тому же провинциализация не всегда результат действия гегемонного дискурса. Зачастую речь идет о добровольной самопровинциализации регионов, подчеркивании краеведческой автохтонности, туземности.

Кевин Платт поднял вопрос о наличии в России аборигенной истории. Он привел в пример региональную историю Америки и Европы, которая показывает, что история империи не строится без насилия. Та же история насильственных отношений между этносами прослеживается и в России. Региональная история в имперском пространстве, на его взгляд, не может строиться без понимания болезненного отношения с центром, где концентрируются вся власть и ресурсы, это всегда рассказ о жертвах и победителях. Докладчица ответила, что аборигенная история насилия существует и довольно активно развивается, что видно на примере работ Ю. Слёзкина, Р. Вульфа, С. Мулиной.

Кевин Платт в докладе «*Постсоциалистические постколони и руины глобальной истории*» продолжил разговор о трансформациях истории в современном мире. Вопреки предсказаниям о возможном конце истории докладчик отметил ее актуализацию и признание едва ли не ведущей роли в оправдании любых претензий на мировое господство. Докладчик привел несколько примеров из современной Латвии. На главной площади города Вентспилса на месте, где до 1991 года стоял памятник Ленину, теперь построен ультрасовременный концертный зал — отголосок неприятия латвийским обществом советского господства. Еще одно новое сооружение на площади — огромный фонтан в форме корабельных матч. Фонтан увековечивает память о фрегате «*Walfiehs*», который, как с гордостью поясняет табличка, открыл в 1651 году одну из двух колоний, недолго принадлежавшую Курляндскому герцогству. Неподалеку на площади выстроен торговый центр — типичный образец глобальной потребительской культуры. Однако этот торговый центр носит имя «Тобаго» в память о другом недолговечном колониальном владении

герцогства. Чтобы объяснить суть этих и других противоречивых примеров, докладчик предложил взглянуть на мировую историю XX века как на конфликт двух фундаментальных различий: противостояния между государственным социализмом и либеральным капитализмом, с одной стороны, и между деколонизацией и продолжающимися конфликтами вокруг имперского наследия — с другой. Как утверждает докладчик, кардинальная рассинхронизация этих различий блокирует установление глобального исторического консенсуса. В результате мы имеем дело с двумя несводимыми к какой бы то ни было глобальной форме оптиками: постколониальной (история империи) и постсоциалистической (история идеологии).

Новое поколение ученых стремится пересмотреть историю социалистического мира, но применение постколониальных терминов к этому материалу приводит к весьма разнородным результатам (так, на примере двух современных монографий² докладчик показывает, что Советский Союз с одинаковым успехом может быть представлен и как форма социалистической империи, и как сила, противостоящая глобальному империализму). Такой разброс интерпретаций вскрывает очередной нерешенный вызов глобальной истории: был ли транснациональный социалистический проект конкурирующей и более справедливой версией глобализации или еще одной формой империи? Корень нынешнего затруднительного положения заключается в том, считает Кевин Платт, что никакая глобальная объяснительная модель не может решительно примирить историю империи с историей идеологии. Примеры из современной Латвии оказываются отголосками этого глобального несоответствия: является ли демонтаж памятника Ленину сопротивлением русскому империализму, неприятием советского государственного социализма или нападка на левую политику в целом как в прошлом, так и в настоящем? Является ли факт возведения памятника истории латышского участия в европейском колониализме прославлением европейского характера латышской идентичности или ненамеренным доказательством, что современное европейское государство в Восточной Европе просто еще один пример западного империализма? Ответить на эти вопросы однозначно не представляется возможным. Пожалуй, все, что остается нам в момент кризиса, заключил докладчик, — это негативная диалектика, которая утверждает, что поскольку всем доступным позициям не хватает понимания тотальности, можно только продолжать изучать имеющиеся фрагменты и терпеливо признавать отрицание.

Александр Семенов в развернутом комментарии после доклада вернулся к затронутому в своем выступлении тезису о необходимости создания нового нарратива в противовес удержанию бинарных оппозиций (имперского/национального нарративов), которые, по его мнению, нужно проблематизировать с помощью исторического контекста, а не продолжать воспроизводить, пусть даже в критической форме.

Кевин Платт согласился с тем, что важно рассказать новую историю советского антиимпериализма или империализма, и это и есть задача историков. Но чтобы устроить мировой или хотя бы локальный консенсус вокруг этого нового нарратива нужно согласовать аксиологические отношения, найти ключ к пониманию взаимоотношений между капитализмом и социализмом, империей и нацией на глобальном уровне. На его взгляд, корень современных противоречий состоит в том, что в разных странах с помощью истории, политической риторики, медиарежимов

2 Речь шла о монографиях *Popescu M.* At Penpoint: African Literatures, Postcolonial Studies, and the Cold War. New York: Duke University Press, 2020; *Djagalov R.* From Internationalism to Postcolonialism: Literature and Cinema Between the Second and Third Worlds. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2020.

поддерживаются разные онтологические системы. Политический контакт между ними невозможен, потому что любое возражение с другой стороны воспринимается как реплика врага. В качестве варианта решения этой проблемы Кевин Платт видит создание такой глобальной истории, где Советский Союз мог бы быть антиимпериалистическим и имперским одновременно.

В ходе обсуждения доклада возник спор о том, насколько с помощью терминов социализм и коммунизм, левые и правые, прогрессисты и консерваторы можно описать происходящее в современном мире. Кевин Платт настаивал на том, что у этих оппозиций очень глубокие корни, и вместо того, чтобы заменять их новой идеологией, нужно попытаться установить между ними связь. Ирина Прохорова высказала мнение, что примеры современной Латвии помогают прояснить суть советского, где освободительный пафос против советской империи сочетается с типично советским колониализмом и логикой имперского величия. Поэтому, возможно, уместнее размышлять не в рамках столкновения либерализма с другими моделями, но в логике дрящегося советского сознания, остатков непереработанной советской идеологии, влияющей на нынешнее политическое воображение. С ее точки зрения, основа нашей терминологии требует пересмотра: такие термины, как «капитализм», «социализм», «марксизм» имеют большую протяженность во времени и нуждаются в серьезной корреляции. Кевин Платт предположил, что если довести этот аргумент до конца, тогда нужно совсем отказаться от истории. «Почему? — возразила Ирина Прохорова, — можно изменить оптику и найти какие-то другие способы описания». «Диалектическое воспроизведение терминов утверждает этот язык и не дает прорасти новому», — поддержал ее Александр Семенов.

Первая секция второго дня, «Интеллектуальная история и российская гуманитаристика», открылась выступлением *Тимура Атнашева* (РАНХиГС / МВШСЭН, Москва), который представил совместный с *Михаилом Велижевым* (НИУ ВШЭ, Москва) доклад под названием «*Плывет. Куда ж нам плыть?*» *Интеллектуальная история в XXI веке*. Чтобы ответить на вопрос, в какой степени гуманитарная практика вообще может претендовать на статус знания, докладчик обратился к философско-методологической критике, представив набор радикальных утверждений-«вызовов»: (1) социальное гуманитарное знание в принципе не может претендовать на статус научного или объективного знания; (2) построение факта внутри социогуманитарного корпуса невозможно, так как факт оказывается заданным интерпретационной рамкой; (3) ни одна объяснительная модель в рамках социогуманитарных наук не может претендовать на тотальный характер, и мы находимся в ситуации принципиального плюрализма и невозможности выбора между разными интерпретациями. Кроме того, оспаривается возможность самой интерпретации, понимания и нейтральность языка. Докладчик констатирует, что представленный набор критических утверждений является не чем иным, как самоподрывом гуманитарного знания. Но все-таки наука, коль скоро она уже имеет место как социальная практика, может сказать, зачем она нужна и чем она занимается (в терминологии докладчика «уже плывет куда-то»).

Во второй части выступления Тимур Атнашев попытался дать ответ на сформулированные вызовы с позиции интеллектуальной истории, в рамках которой по умолчанию приняты три аксиомы: (1) признание автономности и самостоятельной ценности прошлого как объекта исследования; (2) признание важности культурной дистанции и необходимости специальной работы по переводу прошлого; (3) предпочтение дискурса другим объектам анализа (при этом у интеллектуальной истории нет предпочтения тому или иному типу дискурса). Далее докладчик изложил

три дилеммы, которые интеллектуальные историки решают по-разному: (1) автор как продукт действия языка vs. автор как сознательный автономный рациональный пользователь; (2) реконструкция интенции vs. рассмотрение последствий конкретного высказывания; (3) элитарная коммуникация (речь и тексты политиков, ученых, экспертов) vs. массовая коммуникация (речь и тексты широкого круга лиц). На практике каждую из дилемм конкретный историк в конкретной работе решает по-разному. Это докладчик и продемонстрировал на примерах статей, опубликованных в 2021 году в № 171 журнала «Новое литературное обозрение»³. В заключение доклада Тимур Атнашев дал собственный ответ на обозначенные вызовы: гуманитарное знание, подытожил он, связано как с критикой и деконструкцией, так и с апологией и конструкцией.

Наибольшую полемику после доклада вызвал тезис об автономности и самостоятельной ценности предмета исследования (прошлого) как одного из основополагающих принципов интеллектуальной истории. Так, модератор секции *Даниил Аронсон* (Институт философии РАН / Журнал «НЛО», Москва) указал на кажущееся противоречие между перформативностью гуманитарного знания и разговором об автономности предмета исследования. На что докладчик ответил, что под автономностью следует понимать наличие источника, которому интеллектуальный историк приписывает способность производить принципиально значимые для него высказывания. Эти высказывания интересны ему по умолчанию, он осведомлен об их наличии и новизне. При этом он не принимает их за авторитетные по умолчанию, но исходит из того, что авторитетные для него высказывания в прошлом все-таки были.

Сергей Зенкин также задал ряд вопросов относительно тезиса об автономности прошлого: где кончается настоящее и начинается прошлое? является ли прочитанный только что доклад репликой в актуальной дискуссии или фактом интеллектуальной истории? как определить круг людей и высказываний, которые можно отнести к интеллектуальной истории? На это докладчик ответил, что интеллектуальная история исходит из ценности ухода от актуальной дискуссии и генеративного принципа, согласно которому возможно генерировать новое, обращаясь к старому, прошлому.

Второе замечание Сергея Зенкина касалось общей критики гуманитарного знания, представленной в начале доклада. Современная эпистемология рассматривает гуманитарное знание как вероятностное, где есть центральные и периферические элементы, хорошие и расплывчатые примеры, более и менее удачные интерпретации. Тимур Атнашев согласился с этим комментарием, добавив, что речь все-таки идет о конечной множественности значений и набор критических суждений (лучших и худших описаний) все-таки ограничен.

Ирина Прохорова от разговора об автономии прошлого перешла к вопросу об автономии историка от господствующей идеологии. На что докладчик ответил, что источниками автономии историка являются метод, готовность к взаимному оспариванию и возможность совершения суждений. Если историк отказывается от этой способности выносить суждения, то он ничем не отличается от других конструкторов и деконструкторов. На вопрос о том, способен ли историк предложить обществу какое-то убедительное высказывание, Тимур Атнашев ответил, что историки и другие участники публичного поля находятся в равной позиции. Но если в распоря-

3 Речь шла о статьях: *Долбилов М.* Аттестация «верноподданнических чувств»: Министерство императорского двора и народные панегирики дому Романовых в 1860—1880-х годах // НЛО. №171. 2021. С. 22—37; *Карпи Г.* Политический язык Ленина. Идиома «партийность» // НЛО. №171. 2021. С. 38—60.

жении у историков более совершенные инструменты (в том числе для работы с текстом), то государственные идеологи имеют доступ к медиа и к более широкой аудитории. Историки просто оказались сегодня в чуть большей конкуренции, чем двадцать лет назад, подытожил докладчик, но нельзя считать государственную пропаганду успешной в интеллектуальном смысле. Не для всех участников дискуссии последний тезис прозвучал убедительно, в связи с чем Даниил Аронсон предложил подумать о том, что считать успешностью в таком случае («Убедить», — ответил Атнашев).

Сергей Зенкин начал свой доклад «*От семиотики культуры к интеллектуальной истории*» с описания основных достижений семиотики культуры, разработанной в рамках московско-тартуской школы в 1970—1980-х годах. Важнейшей новацией этой дисциплины стал ее междисциплинарный характер. Этим семиотика культуры противостояла институциональным традициям академической науки с ее жестко закрепленными дисциплинарными границами. Семиотика культуры заняла необычную позицию в отношении истории: никогда не пыталась описывать прошлое в виде историографического нарратива и предпочитала нарративу диахроническое изложение материала, иллюстрируемое примерами из разных эпох прошлого или же выделяла отдельные эпизоды (даже не события), моментальные диахронические срезы из истории России. Масштабные исторические повествования в рамках этой дисциплины исключались отчасти из-за недоверия к нарративной форме, отчасти из опасности вступить в противоречие с догматической версией истории.

По мысли докладчика, научным проектом, заменяющим сегодня семиотику культуры, могла бы стать интеллектуальная история. Для нее также свойственна междисциплинарность, уход от написания масштабных социальных нарративов, принцип эпистемологического нейтралитета, признающий равенство истории великих открытий и истории ложных идей (в семиотике культуры — «мифов»). Еще одна особенность семиотики культуры, которая обнаруживает ее сходство с интеллектуальной историей — представление о возможной актуальности изучаемых исторических объектов. Подобно этому в интеллектуальной истории изучается генезис идей, сохраняющих свою продуктивную операциональную силу в настоящем. В качестве примера докладчик привел работы формалистов и Бахтина, актуальность идей которых заставляет нас чувствовать себя одновременно их историками и современниками. Здесь существует, как отметил Сергей Зенкин, опасность презентизма — опасность принять генезис идеи за ее истолкование, когда неявно предполагают, что истина идеи лежит в ее прошлом. Но, как заключил докладчик, возможно и обратное, когда идея еще не выявила всех своих возможностей и истина маячит где-то в будущем.

Последний тезис вызвал вопрос у Даниила Аронсона, который попросил раскрыть тезис о значимости идеи в ее связи с будущим. Докладчик ответил, что построения интеллектуальной культуры прошлого позволяют выделять идеи еще недостаточно ясные для самих современников и их создателей, потому что они не знали дальнейшего их развития. Превращение найденных идей в живые, способные направлять нашу сегодняшнюю рефлексию — это творческий аспект интеллектуальной истории, один из наиболее интересных в этой науке.

Ирина Прохорова отметила, что семиотика культуры — мощный фундамент для дальнейшей эволюции гуманитарных дисциплин. Докладчик добавил, что современная постсоветская гуманитарная наука — это колос на двух ногах, где одна нога — московско-тартуская школа — каменная, а другая — переродившаяся марксистская ортодоксия — глиняная. Колебание между двумя этими опорами — это и есть наше все.

В начале доклада «*Рестаурация: воспроизводимое, обратимое, полезное, обновляемое прошлое*» Ирина Сандомирская (Институт Сёдертёрна, Швеция) предположила, что научно-исследовательский энтузиазм «Баннных чтений» может оказаться — в свете нынешних событий — не более чем формулой пустой речи, травматической афазии. Вполне вероятно, и то, о чем далее она будет рассказывать в докладе, тоже является просто формой молчания, которая выражается «в невероятном теоретическом многословии».

Предмет многолетнего исследования Ирины Сандомирской — реставрация. Основной принцип реставрации докладчица обозначила как фрактальное воспроизведение повторов, каждый из которых за свой исходный пункт берет повтор, ставший результатом предыдущего. В каждом таком шаге прошлое обновляется или появляется, причем обновление требует разрушительного насилия над исторической вещью ради очистки ее от всего лишнего и ложного, ради приближения к воображаемому идеалу первоначального состояния, которое в реальности никто никогда не видел. Реставрация и ее ответвление — консервация, больше нацеленная на сохранение, по-разному интерпретируют понятие подлинности. Для консервации подлинная вещь — это то состояние, в котором вещь нашел археолог (руина). Для реставрации подлинность вещи связана с ее первоначальным состоянием, таким, каким эта вещь вышла из рук мастера. За этим различием в понимании подлинности докладчица видит важное противостояние вещи и объекта, где вещь в какой-то момент вытесняется объектом манипуляции (в том числе словесной, теоретической, исторической).

Противоречивость и непоследовательность реставрации докладчица сформулировала в виде антиномий: с одной стороны, она движется желанием вернуть все как было, с другой, желание реставрации — это вернуть все, причем не просто как было, а так, как будто ничего не было. Другая антиномия связана с тем, что в реставрации присутствуют два способа зрения: дальнее, когда вещь предстает как целостный объект, произведение искусства и близкое, тактильное зрение, где вещь видится распадающейся поверхностью, испещренной множеством материальных изменений под воздействием времени и условий хранения. Вещь, которая попадает к реставраторам, одновременно существует на этих несводимых друг к другу расстояниях — тактильном и оптическом.

История модерности, заключает докладчица, полна деструкции. Чтобы положить конец этим непрерывным воспроизведениям одного и того же, которые стремятся заменить для нас критическую и историческую рефлексию и над прошлым, и над настоящим, следует взглянуть на реставрацию как на дискурс материального присвоения прошлого.

Тимур Атнашев заметил, что пафос докладчицы идентичен интенции реставратора, главная цель которого — сберечь вещь. Также он отметил, что при сопоставлении с проблематикой интеллектуальной истории уместнее говорить о понятии реконструкции. В этой аналогии интеллектуальная история снимает трехмерный фильм о том, что происходило с церковью на протяжении тысяч лет, при этом не фиксируя ни одну из точек как привилегированную. Таким образом, реконструируя динамику, интеллектуальная история не попадает в сложную ситуацию, заданную необходимостью выбрать одно состояние. Ирина Сандомирская ответила, что чтобы ни говорила интеллектуальная история, но привилегированные моменты создаются постоянно и от этого невозможно уйти («Может быть, интеллектуальной истории и удалось избежать насилия, но посмотрите, может быть, и нет?» — предположила она.) Также докладчица отметила, что реставрация осознала этот момент насилия в себе и пытается его ограничить.

Даниил Аронсон попросил сформулировать различие между вещью и объектом: как вещь может молчать и как можно говорить о пассивности вещи? До-

кладчица ответила, что объект — это всегда продукт конструирования, говорения, видения. То, что мы видим и то, на что смотрим, — разные вещи. Как только я скажу на что смотрю, это сразу станет объектом. Когда вещь становится памятником римского классического периода, она начинает выражать «памятниковость» Римской империи, но это по-прежнему обломок, он молчит, а за него говорят наши дискурсы и перспективы.

Во вступительном слове к следующей секции второго дня, «*Парадигмальные “повороты” и российское гуманитарное знание*», модератор секции Татьяна Вайзер (Университет Дрездена, Германия / журнал «НЛО», Москва) напомнила о том, что за последние тридцать лет в журнале «Новое литературное обозрение» провели достаточно много дискуссий, связанных с парадигмальными поворотами⁴, и практически все докладчики нынешних «Баннх чтений» также принимали в них участие, что не только позволяет им сделать некоторый срез произошедшего за это время, но и дает шанс переопределить собственную позицию.

Николай Ссорин-Чайков (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) представил доклад под названием «*Предварительные заметки по антропологии гранта*». С помощью метода включенного наблюдения и этнографических интервью с российскими антропологами докладчик собрал материал о том, как коллеги: (1) описывают трансформации в контексте грантовой системы; (2) в ответ на трудности, которые они встречают при проведении полевых исследований на средства грантов, придумывают собственные решения или, как говорит Ссорин-Чайков, «импровизируют свою “лоскутную этнографию”». Термин «лоскутная этнография» был придуман в среде американских исследователей, которые попытались адаптировать принципы антропологии к современным реалиям. Желая сохранить этическое и профессиональное обязательство по отношению к традиции длительного включенного наблюдения, они сформулировали представление о наполненной пространственными и временными разрывами «лоскутной» (в противовес длительной) этнографии и переопределили границы «дома» и «поля». В российской же этнографической традиции по причине специфики структуры финансирования и администрирования длительного поля никогда не было, были лишь кратковременные поездки. В этих условиях образ «лоскутного одеяла» особенно точно передает отношения энтузиастов-этнографов в поисках финансирования и времени на полевые исследования.

Как показывает докладчик, грантовая система имеет свою темпоральность (трехлетний цикл гранта; цикл финансирования; цикл работы и цикл отчетов). Эта сложная темпоральность непосредственно влияет на социальную организацию современной науки и на темпоральность самого антропологического исследования. Грант отличается от других видов поощрений в науке (например, от премии) и, с точки зрения экономической антропологии, является видом обмена, не сводимого к рыночному и контрактному. «И если мы хорошо представляем, что такое советский и российский этнографический дискурс, — заключил докладчик, — то вне поля внимания остаются все те отношения обмена в которые он погружен».

4 См.: «Актуален ли Фуко для России?» (2001. № 41); «Споры о новом историзме» (2001. № 47); «Другие истории литературы» (2003. № 59); «Антропология закрытых обществ» (2009. № 100); «Антропология как вызов» в (2010. № 106); «Антропологический поворот в российских гуманитарных науках» (2012. № 113); «Микроистория в России» (2019. № 160); «Постсоветское как постколониальное» (2020. № 161 и № 166) и т.д.

В дискуссии после доклада *Марк Липовецкий* (Колумбийский университет, США) попросил развернуть дискурсивный аспект проблемы, который был упомянут в конце выступления. Докладчик сослался на секцию предыдущего дня, где Александр Семенов подверг анализу и критике историографию колониальных отношений и исследований советского и постсоветского. Именно такой аспект, с фокусом на дискурс (как историографический дискурс, так и дискурс, связанный с идентичностью) традиционно доминирует в разработке тем советской и российской этнографии. И история антропологии вписывается в эту парадигму очень хорошо, так как в советское время антропологи участвовали в национальной политике, создавая дискурс с точки зрения стадильной отсталости, дискурсов о национальности, этничности. И если в области истории дискурсов сделано очень много, то в изучении отношений обмена, в которые погружено производство научных фактов, сделано несравнимо меньше.

Татьяна Венедиктова (МГУ) в докладе «*Прагматический поворот со скрипом*» от социальной жизни гранта предложила перейти к филологии, в частности представила поле литературной прагматики. Процесс освоения этой новой, очень «многоканальной» проблематики идет «со скрипом» (докладчица привела сравнение как со скрипом, возникающим при трении несогласно движущихся частей, так и со скрипом новизны — «сапоги со скрипом»). Само по себе поле литературной прагматики — часть масштабного перехода от изучения текста к изучению действия внутри и посредством текста, о котором шла речь на круглом столе в первый день конференции. С точки зрения лингвистики литературная прагматика — это абсолютная периферия. Именно ее энергиями, продолжила докладчица, обеспечивается искомая интересующая нас всех литературность высказывания. И если лингвистику по-прежнему интересуют коды, единицы, нормы и порядки, то в поле внимания литературной прагматики попадают элементы, которые один из основателей прагматизма Уильям Джеймс еще раньше называл «транзитивными»: зоны контакта, точки перехода, лигатуры, отношения, возникающие чисто ситуативно и ускользающие от означивания и остающиеся безымянными.

Далее докладчица обратилась к американским истокам культуры прагматической мысли, а именно к книге «Исследования классической американской литературы» (1923) Д. Лоуренса, в предисловии к которой он сопоставляет американскую и русскую словесность. Обе они с отвагой подходят к краю (*verge*) — краю нового, другого, рискованного. Но если русские склоняются к откровенности и буквализму, американцы, по Лоуренсу, прибегают к уловкам, хитростям, иносказаниям и двусмысленности. У. Джеймс также отмечал, что атмосфера множественности для истины высокопитательна. В подвижном плюралистическом мире, где конфликт правого с правым высоковероятен и бесперспективен, писал он, работа интеллектуала состоит в том, чтобы умело изымать жесткий стержень из любой теории («*unstiffen all theory*»).

В книге К. Уэста «Американское уклонение от философии. Генеалогия прагматизма» (1989), наравне с классиками прагматизма, упоминается и современный мыслитель Роберто Мангабейра Унгер. Унгер обратился к литературной метафоре «негативная способность» (*negative capability*) Джона Китса как способности пребывать в неопределенности и терпеть неопределенность, не пытаясь поскорее редуцировать ее к конкретному резону. Унгер определяет ее как наращивание силы через ослабление (*empowerment through desentranchment*). В этой контринтуитивной формуле он видит общий знаменатель эмансипационных движений современности — освобождение от социальных институтов, которые одновременно наделяют индивида силой и подчиняют его себе. Альтернативный источник силы и

признак интеллектуального героизма — способность ко все более широкому адаптивному маневру в сложно устроенной социальной среде.

Во время дискуссии после доклада Ирина Прохорова задала вопрос об упомянутом в докладе отличии русской литературы от американской, согласно которому последней свойственна стратегия избегания и множественности: сохраняется ли этот водораздел и сегодня? Докладчица ответила не на примере литературы, а на основании собственного впечатления от посещения продвинутого университетского американского класса и такого же класса в России, что это разделение сохраняется. В России до сих пор главенствует желание установить, «как правильно». Американская же культура — и это, возможно, лучшее, что в ней есть, сказала Татьяна Венедиктова, воспитывает умение жить с неоднозначностью и вытаскивать из неоднозначности разнообразные выводы и выходы.

Александр Эткинд (Европейский университет, Италия) в докладе «*Материальный поворот, телесность и русские идеи коллективного тела*» представил размышления в связи со своей книгой «Природа зла. Сырье и государство» (М., 2020) и рефлексией собственного многолетнего участия в дискуссиях журнала «Новое литературное обозрение». Общую тенденцию последних двух или трех десятилетий (наиболее емко обозначенную как «антологический поворот») докладчик обозначил как отход от интереса к литературе/тексту как таковому и включение текста в более широкие контексты. Сегодня в моду также вошло выражение «материальный поворот» (книга «Природа зла» вписалась и вышла за его рамки). Эткинд отмечает, что как антропологический, так и материальный повороты связаны с широкой рамкой этического поворота — в отличие, например, от лингвистического поворота, где интерес к тексту как таковому лежал «по ту сторону добра и зла». Кроме материального, сегодня назрел и еще один поворот — планетарный, суть которого в том, что добро и зло, которое каждый творит или в котором участвует (в том числе как интеллектуал, который оценивает, понимает, опровергает) — имеет планетарное значение.

Докладчик привел две альтернативные гипотезы, в рамках которых ученые в области естествознания через обращение к мифологическим образам пытаются осмыслить назревшую климатическую катастрофу и приписывают этическое суждение самой планете. Классик климатической науки Джеймс Лавлок, автор «гипотезы Геи», утверждает, что планета Земля — глобальный планетарный организм, а все живые существа — его клетки. Гипотеза состоит в том, что у этой планеты, вселенского организма есть свои гомеостатические механизмы, способы приведения ситуации в равновесие. Вторая гипотеза — Медеи — придумана американским палеонтологом Питером Уордом. На основании данных о массовых вымираниях определенных видов животных и растений Уорд формулирует вывод о том, что ни в одной из этих ситуаций планета не восстанавливала равновесие, а, подобно Медее, убивала собственных детей.

В России планетарный масштаб докладчик прослеживает в идее глобальной планетарной системы В. Вернадского и в сочинениях М. Горького, написанных после 1905 года и осмысляющих, как подчеркивает Александр Эткинд, время реакции, спада, упадка («Исповедь», «Дело Артамоновых» и др.). В этих произведениях, по мысли Эткинды, присутствует идея коллективного тела, которая приобретает характер расширенного коллективного удовольствия, оргазмического действия как нового способа постижения мира.

Николай Плотников (Рурский университет, Германия) в докладе «*Постсоветские дискуссии о справедливости*» предложил дискурсивный анализ понятия справедливости. Он показал при каких условиях и в какие периоды справедливость становится ареной политической борьбы и средством выражения разных

субъектов, которые используют это понятие как элемент своей картины мира и своего образа будущего. Само понятие при этом оказывается индикатором наличия дискурсивных конфликтов — не отдельных интересов или групп интересов, а различных нормативных порядков. Каждый из этих порядков претендует на легитимность, актуализируя с этой целью понятие справедливости. Стремительный рост частоты употребления понятия справедливости характерен для позднесоветского периода (вплоть до конца перестройки). На различных примерах докладчик показывает, что понятие справедливости не входило в идеологический словарь советского режима до 1980-х годов и дискурсивная модель советской системы как мира реализованной социальной справедливости на деле оказывается позднесоветским мифом. С момента начала либерализации понятие маркируется как советское и как подлежащее устранению из набора ценностей, легитимирующих либеральные реформы постсоветской России. Ему на смену приходят понятия нормы и правды. В период нового режима (2000—2010) в дискурсе власти укрепляется идея ценности справедливости как формы оправдания авторитаризма. После 2014 года понятие справедливости становится драйвером превращения диктатуры закона в диктатуру справедливости (составная часть этого процесса — формула «сила в правде»). Последний этап характеризуется академической консолидацией представления о России как цивилизации. «Луч надежды» в этой картине, говорит докладчик, — наметившиеся тенденции «социального либерализма» в рамках общественного активизма и академического дискурса со свойственной ему борьбой против гендерного неравенства, цензуры, коррупции.

В ходе дискуссии после доклада у слушателей возник вопрос о том, как идея «справедливости как правды» функционирует в режиме постправды. Докладчик ответил, что скорее под понятием постправды подразумевается «постистина» как соотношение истины и лжи, а русское понятие правды ближе к «праву», «справедливости», что не совсем коррелирует с глобальным дискурсом постправды. Механизм же постправды, или пропаганды, превращает любую ложь в вероятную истину. Так, например, из постоянного медийного воспроизведения и преумножения одного и того же ничем не подтверждаемого тезиса (например, что у России, в отличие от европейцев, есть свое специфическое представление о справедливости), возникает ощущение медийной уверенности, что это так и есть.

Марк Липовецкий, указав на фильм А. Балабанова «Брат-2» как на источник афористичной фразы «Сила в правде», отметил его ответственность за формирование нынешнего ультранационализма и за перевод справедливости (как того, что мы несем миру) в онтологизированную внешнеполитическую категорию: справедливость как чисто русское понятие, на основании которого перестраиваются отношения с Западом и Америкой. Также Липовецкий согласился, что вокруг справедливости сейчас формируется новая повестка, в том числе на этом понятии выросло движение А. Навального.

Докладчик подтвердил, что из практики активизма вырастает запрос на новый дискурс и эта новая повестка будет драйвером нового социального конфликта. Что касается модели «сила в правде», то, в отличие от советской системы, которая была экспансионистской и предполагала, что мы несем идеологию и преимущество социалистической системы всему миру, «правда» воспринимается как некое свойство русской нации. Это модель крепости, которая держится на специфически русских ценностях.

В своем докладе *«Антропологический поворот: десять лет спустя»* Марк Липовецкий предложил взглянуть на сложившуюся за тридцать лет существования журнала «Новое литературное обозрение» «транснациональную школу» и заявленную ею модель гуманитарного знания («антропологический поворот»). До-

кладчик напомнил основные вехи дискуссий об антропологическом повороте, раз-вернувшихся на страницах журнала⁵. Первоочередная задача, которая возникла в связи со сменой теоретической оптики и была озвучена в манифесте 2009 года, состояла в необходимости преодоления изоляционистской традиции изучения отечественного историко-культурного опыта. Эта задача оказалась решена только в одностороннем порядке: сегодня русисты-гуманитарии активно используют западные теории и вписывают отечественные феномены в глобальные контексты, однако западные исследователи обращаются только к нескольким хорошо известным русским именам (Толстой, Достоевский, Бахтин, Шкловский, Эйзенштейн, Вертов и Тарковский). Среди достижений отечественных гуманитариев круга «НЛО» докладчик отметил формирование единых оснований для нескольких поколений исследователей русской культуры XX—XXI веков: общего набора теоретических авторитетов (Фуко, Агамбен, французские постструктуралисты, гендерные исследования, *trauma* и *memory studies*, формалисты, Бахтин и Лотман) и единого концептуального языка. Удачным примером синтеза социальных и гуманитарных наук в разработке концептуального аппарата, по его мнению, являются понятие «исторической субъектности» и теория множественных модерностей.

Но помогли ли концепции множественной модерности предвидеть самоубийство постсоветской модерности, произошедшее 24 февраля 2022 года? — вопрошает докладчик. Почему проблематика самоуничтожения модерности выпала из поля зрения ученых и не становится ли сегодня исследование этих суицидальных по отношению к модерности тенденций в истории российской культуры первоочередной задачей всей гуманитаристики? Отвечая на эти вопросы Марк Липовецкий вслед за исследователями модерности, утверждает, что контртенденции — естественная составляющая любой модерности. Понять механизмы их функционирования (в нашем случае постоянное воспроизведение русского имперского национализма) на уровне языка, социальных рефлексов и фантомов как раз и должны помочь методы, выработанные в рамках антропологического поворота с их вниманием к повседневным практикам, невидимым механизмам культуры, неустрашимым паттернам в литературе и массовом искусстве. Докладчик убежден, что не столько социальная теория, сколько гуманитарные исследования с введением украинской, белорусской, грузинской, польской перспектив способны сыграть остражную роль и обнажить культурные механизмы, остающиеся незаметными при изучении русской культуры изнутри, что опять же отсылает к задаче преодоления изоляционизма в изучении отечественного историко-культурного опыта.

В дискуссии после доклада Николай Плотников уточнил, не приведет ли идея рассмотрения России в контексте восточноевропейского развития к переписыванию старых или созданию новых моделей исторического развития. Например, к созданию модели, альтернативной «традиционной» российской истории (Киевская Русь — Московское царство — Петровская империя), где Киевская Русь воплощается, к примеру, в Польско-Литовском княжестве. Такое моделирование позволит создать целый плюрализм исторических нарративов, который мог бы действительно конкурировать с российским имперским нарративом.

Докладчик согласился, что нужно создавать новые теоретические модели. Но не только история, но и русская культура нуждается в пересмотре с учетом точки

5 Прохорова И.Д. Новая антропология культуры. Вступление на правах манифеста (2009. № 100. С. 9—16; Платт К.М.Ф. Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста / Авториз. пер. с англ. А.В. Маркова (2010. № 106. С. 13—26); Поселягин Н. Антропологический поворот в российских гуманитарных науках (2013. № 113. С. 27—36).

зрения Другого, имперской окраины, имперского меньшинства. Липовецкий решительно отказался воспроизводить тупиковый, на его взгляд, дискурс о вине русской культуры. С его точки зрения, важнее объяснить регулярные суициды специфически русских попыток построения модерности, что можно сделать только исходя из «общего гнезда» одного культурно-социального политического поля вокруг Российской империи, и прямые сопоставления с западным опытом здесь менее полезны, чем сопоставления с опытом украинским, польским, чешскими, казахским.

Кевин Платт прокомментировал выступление, сказав, что нужно не только добавить грузинские, украинские голоса (это действительно важно), но и найти инструментарий, чтобы сочетать их между собой. На его взгляд, это должны быть переплетенные, транснациональные, пограничные исследования (entanglement, transnational and border studies), иначе есть опасность путем старых методов сравнительного анализа только укрепить мнимые цивилизационные «целостности» и эссенции.

Ирина Прохорова привела слова Евгения Добренко о том, что сегодня мы фактически существуем в матрице позднего сталинизма, и задала вопрос о том, можно ли рассматривать текущую ситуацию как изживание тоталитарного, метаморфозы советского? По ее мнению, пересмотр наших представлений о послевоенном советском обществе с точки зрения того, какие тренды (наряду с поздним сталинизмом) там появлялись, конкурировали друг с другом, становились ведущими, позволил бы лучше понять нынешнюю ситуацию. Марк Липовецкий поддержал идею написания новой драматургии эпохи как борьбы неумиряющих дискурсивных идеологических конструкций, но не согласился с мыслью Е. Добренко. На его взгляд, современная ситуация — это уже модифицированное, новое образование, которое наследовалось не только по каналу сталинизма, но и антилебиализма. Например, как показал Николай Плотников, через понятие справедливости.

Третий день конференции открыл круглый стол «Трудности перевода: становление теории моды в контексте российской гуманитарной мысли», организованный журналом «Теория моды: одежда, тело, культура». Ирина Прохорова во вступительном слове напомнила, что появление этой дисциплины в России напрямую связано с основанием в 2006 году журнала «Теория моды» и отметила, что, несмотря на свою кажущуюся маргинальность, модная теория обнаруживает большую мобильность и лучше помогает понять трансформацию общества, чем многие другие традиционные дисциплины. Модератор круглого стола Людмила Алябьева (НИУ ВШЭ / журнал «Теория моды: одежда, тело, культура», Москва) рассказала об истории зарождения теории моды на Западе в 1990-е годы в недрах культурных исследований и поделилась своим беспокойством относительно судьбы модной теории в России: с момента своего появления дисциплина была тесно интегрирована в международный контекст, что делает ее особо уязвимой в ситуации изоляции, которая грозит российской науке.

Ольга Вайнштейн (ИВГИ РГГУ, Москва), автор идеи журнала «Теория моды», рассказала о методологических основаниях дисциплины, которые стали предметом дискуссии в кругу авторов журнала «Fashion Theory» в 1998 году. В ходе дискуссий обозначились два подхода: первый, эмпирический (object based study), представлявший позицию кураторов, музейщиков, историков костюма, для которых костюм первичен; второй — теоретический, развиваемый культурными исследователями, согласно которым костюм изучается через визуальную репрезентацию или слово. Российская модная теория изначально пыталась представить обе тенденции, и в журнале публиковались как теоретики, так и историки. Ольга Вайнштейн отметила, что некоторые области, существовавшие в западной теории моды, усваива-

лись в отечественном пространстве достаточно легко (например, исследования визуальности, телесности, фотографии), а некоторые приживались с трудом или с большим опозданием. Наибольшие трудности возникли в связи с усвоением западной критической теории (что, как отметила Вайнштейн, характерно и для российских гуманитарных исследований в целом). Спротивление также вызывала новая проблематика: гендерные исследования и телесность, феминизм, тематика неформатных тел, боди-позитив — все, что так или иначе покусается на каноны гламурной красоты. Еще одна тема, которая встретила скепсис и иронию в России, — тема толерантности и мультикультурализма. Толерантность, подытожила докладчица, ключ к новой этике, которая достаточно институционализирована и в Европе, и в Америке, но по отношению к которой российские ученые сегодня могут являться не столько субъектами, сколько объектами.

Разговор о телесности продолжила *Ксения Гусарова* (РАНХиГС / РГГУ, Москва). Докладчица порадовалась оптимизму, высказанному Ольгой Вайнштейн в отношении благосклонного восприятия исследований телесности в России, но решила все же поговорить о сложности в становлении этого предмета исследований, озаглавив свое выступление «*Модное тело в поисках объекта исследования*». Парадоксальным образом, отмечает Ксения Гусарова, объект этот вовсе не очевиден, и понадобилось достаточно много времени, чтобы мы стали видеть его очертания. Так, в классических исследованиях моды, начиная от «Системы моды» Р. Барта, речь шла об образах и текстах, о дискурсе моды, тогда как реальная одежда, не говоря уже о человеческом теле, оставались за рамками рассмотрения. В исследованиях моды нередко воспроизводится практика пренебрежения телом («нейтрализация телесности»), изначально присущая и самой модной индустрии. Сегодня модели стали более заметны, чем модели столетней давности. Но, например, телесное присутствие безымянных труженников мира моды — работниц, которые вкладывают свои телесные навыки, мастерство в производство нарядов, — до сих пор редко становится предметом интереса исследователей и широкой публики, особенно в российском контексте. При разговоре об истории труда обычных людей одной из основных «трудностей перевода», по мнению докладчицы, является вхождение в российский контекст марксистских оснований дисциплины *cultural studies*. Отчасти проблема кроется и в отсутствии запроса у широкой публики на историю простого человека и его телесное бытие. Как отметила Ксения Гусарова, даже в серьезных исследованиях культуры телесности, одежда, практики ухода за собой, становление индустрии красоты воспринимаются как нечто отдельное от тела и не попадают в фокус рассмотрения исследователей. Вместе с тем формируется и другой взгляд, согласно которому искусство и мода придают телу форму, пропорции, расставляют акценты, иными словами моделируют тело в соответствии с тем или иным канонем.

Ирина Сироткина (Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Москва) раскрыла перформативный аспект модной теории. Рассматривая череду методологических поворотов гуманитарного знания — от лингвистического к прагматическому и перформативному, — Ирина Сироткина отметила, что, в отличие от прагматики, перформанс ставит акцент не на утилитарности, а на процессуальности и взаимодействии, которое возникает между актерами и зрителями как партнерами в создании перформанса. Поворот к исследованию коммуникативного взаимодействия можно приложить и к исследованиям моды, в частности через понятие спектаклярности, разработанного в контексте теории перформанса. Во второй половине XX века спектаклярный аспект модных коллекций начинает доминировать: шоу приобретает собственную значимость, а главной целью коллекции становится создание спектакля. Согласно исследовательнице театра

Эрике Фишер-Лихте, перформанс — это всегда немного волшебство, по прошествии которого зрители преображаются. Докладчица привела в пример собственное посещение показа одежды для людей с различными особенностями, в течение которого напряженность и настороженность зрителей сменилась общей радостью и удовольствием.

От спектаклярности разговор плавно перешел к фотографии. *Ольга Аннуро́ва* (РАНХиГС / Журнал «НЛО», Москва) предложила посмотреть на связку исследований моды и визуального через несколько ключевых точек, в которых обнаруживается наиболее сильное их взаимодействие: понятие тела, взгляда и поверхности. Так, в исследованиях моды и костюма, как и в связи с изображением, проблематика тела рассматривается через опыт ношения одежды, соприкосновения с материалом. Проблематика взгляда раскрывается через вопрос о роли стороннего взгляда в формировании модного образа или роли фотографии в конструировании этого взгляда. Вопрос о поверхности в моде пересекается с разговором о фактурах тканей, а в случае с изображением отсылает к поверхности того или иного средства (в живописи это может быть краска, в фотографии — эмульсия). Взаимодействие модных штудий и исследований визуального через обозначенные проблемные точки имеет большой исследовательский потенциал, что и продемонстрировала докладчица на примере статьи Ребекки Арнольд «Мода в руинах: фотография, роскошь и распад в Лондоне 1940х годов» (Теория моды. 2018. № 50. С. 197—221). В этой работе поверхность рассматривается, с одной стороны, как важная характеристика руин города, пережившего бомбардировки, с другой — как идеальная фактура платьев модного дефиле, проведенного в пространстве этих руин.

Людмила Алябьева с воодушевлением отнеслась к упоминанию статьи Ребекки Арнольд, поделившись цитатой из британского «Vogue» 1940 года, которую она, по собственному признанию, часто перечитывает в последнее время: «Мы уповаем на моду. В новом году, который окутан мраком войны, мы верим в это с еще большей силой, и мы не дадим никому смутить нас: мы верим, что мода не прихоть, не легкомысленная причуда, а сидящий в нас инстинкт <...> Войны, революции, социальные изменения вставали у нее на пути, но никому не удавалось ее уничтожить»⁶. Подводя итоги круглого стола, Людмила Алябьева адресовала участникам вопрос: как возможна теория моды в нынешних обстоятельствах, и можно ли говорить о моде в такие времена. Разделяя пафос приведенной цитаты, Ирина Прохорова ответила, что изучать моду важно, ведь она отражает и во многом формирует социальные процессы. Мода всегда воплощала индивидуализацию и раскрепощение, и недаром все тоталитарные режимы пытались с ней бороться. Мода будет жить, несмотря ни на какие попытки ее обуздать. «Отстоим моду!» — резюмировали участники дискуссии. «И развиваем теорию», — добавила Ольга Вайнштейн.

Заключительная секция конференции «Новые гуманитарные направления и трансформация старых дисциплин» открылась докладом «*Сталинская культура как область исследований*». *Евгений Добренко* (Университет Ка Фоскари, Италия) отметил, что еще тридцать лет назад такого предмета исследования, как сталинская культура, в России не существовало, а на Западе эта область исследований только зарождалась. К началу 1990-х годов изучение сталинизма стало выходить из сферы традиционной советологии, где оно пребывало в течение многих десятилетий. В западной русистике в последующие двадцать лет произошли сдвиги, наиболее ярко выраженные в смещении научного интереса к советской истории, конкретнее —

6 Цит. по: Арнольд Р. Мо́да в руинах: фотография, роскошь и распад в Лондоне 1940-х годов // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018—2019. N 50. С. 202.

к сталинской эпохе. Среди факторов, оказавших влияние на формирование исследований сталинской культуры докладчик отметил, прежде всего, «поколенческие причины»: с одной стороны, уход старшего поколения славистов с их интересом к Серебряному веку, с другой — уход поколения шестидесятников с их левыми политическими симпатиями и вниманием к революционному периоду. За время существования западной русистики сменилось несколько поколений исследователей: эмигранты первой волны (первое поколение), частично потомки первой волны эмиграции, частично представители второй («поколение 50-х»). Они-то и стояли у истоков русистики как научной дисциплины на Западе, возникшей одновременно с началом холодной войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Часть этих исследователей занималась советологией, но большинство интересовалось в узком смысле классикой, Серебряным веком. На смену им, уже в 1970-е годы, пришло новое поколение русистов, также разделивших симпатии между высокой литературой и советскими темами. Советологи сходились с филологами в том, что в случае с советским материалом, они имеют дело с политической пропагандой, и никакого эстетического измерения там нет и быть не может.

Для формирования области исследований сталинской культуры важно было и фактическое окончание советской эпохи. Оно способствовало пониманию того, что в перспективе национальной истории центральной точкой была вовсе не русская революция. Экономический, политический, идеологический культурный фундамент советского режима был создан и укоренен в сталинизме. В созданных Сталиным рамках он и просуществовал еще почти четыре десятилетия после его смерти. Но, утверждает докладчик, советская эпоха не завершилась и сегодня: постсоветская идентичность опирается на прежние советские традиции, и чтобы понять эту постсоветскую современность, нужно пристально всматриваться в ее советские корни.

Константин Богданов (Институт русской литературы РАН, Санкт-Петербург) задал докладчику вопрос о том, действительно ли советология так плоха? Советология совсем неплоха, ответил Добренко, просто в России ее узнали уже в интерпретации ревизионизма 1970—1980-х, как что-то плоское и почти карикатурное. Но советология отнюдь не была примитивной и однозначной. Есть очень важные работы, созданные классиками советологии (например, Верой Данам или Эдвардом Брауном). В этой области российским исследователям еще многое надо для себя открыть.

Ирина Прохорова заступилась за отечественных филологов, которые, как следовало из доклада, не хотели заниматься советским периодом, а бесконечно занимались Серебряным веком. Она напомнила о том, в какой драматической ситуации находилась послевоенная советская гуманитаристика, когда ведущим филологам — хранителям и собственным открывателям того же Серебряного века — приходилось прорываться сквозь паутину лжи, колоссального потока цензурированной макулатуры, и осуждение сталинизма тогда шло отнюдь не по эстетическим отвлеченным критериям. Поэтому одна из причин того, что отечественные ученые не занимались сталинской культурой — недостаточная временная дистанция. В международном же контексте проблема исследований сталинизма связана была с привлекательностью левых идей в западных институциях.

Докладчик отметил, что в этом как раз и кроется нерв всего сюжета и у него нет абсолютно никаких вопросов к тому, почему в России произошел сдвиг к Серебряному веку, к русской религиозной философии. Но были и те, кто занимался советской культурой, отчасти выгораживая сталинизм. Обязанность исследователей истории советской культуры сейчас Добренко видит в том, чтобы эти вещи проговаривать и артикулировать, раскрывать взаимосвязи. Также докладчик согласился с тем, что на Западе привлекательность левых идей во многом определяла

интерес к этим темам. В пример он привел двухтомник К. Тевеляйта «Мужские фантазии» (1977), который показывает становление милитантного сознания поколения после Первой мировой войны и объясняет происхождение фашизма. Эта и многие другие работы (например, Я. Кершоу, Э. Мишо, Дж. Шнаппа), неизвестные российскому читателю, открывают более широкое поле, в котором советский опыт отражается через опыт других режимов. По мнению Добренко, эти книги важно вводить в научный оборот в России, потому что они революционизируют, позволяют совершенно иначе понять и увидеть, с каких сторон можно подходить к сходному материалу — советскому или современному.

Константин Богданов в докладе «Филология. От мотива к мотивации» на примере понятия «мотив» показал как складываются общие тенденции, определяющие облик современной филологии. На его взгляд, гуманитарное знание соотносится отныне не столько с теорией, сколько с практикой социального взаимодействия, институционального и идеологического выбора. В начале доклада Константин Богданов отметил важность сходства слов «мотив» и «мотивация» (от лат. глагола *movere* — ‘двигаться, подвигать’, то есть так или иначе мотивировать). Сегодня мотив и мотивация — это что-то, что останавливает наше внимание; то, что каким-то образом придает умозрительному или очевидному определенную структурную или смысловую значимость; то, что высвечивает соотношение детали и целого. Но каковы границы мотива или мотивации? Согласно «Указателю фольклорных мотивов» (1932—1936) Стита Томпсона, мотив — это ситуации, действия, отдельные персонажи или предметы, а именно все то, что подразумевает традиционно связываемые с ними истории. Сам Томпсон признавал, что применительно к повествовательной традиции понятие мотив всегда используется в очень вольном смысле, потому что включает в себя *любые* элементы повествовательной структуры. В размышлении о сказочных сюжетах Томпсон был более категоричен: сказочный мотив определялся им как наименьший элемент в рассказе, имеющий силу сохраниться в традиции. Чтобы иметь такую силу, в нем должно быть что-то необычное и поразительное. В разбросе мнений о границах и признаках выделения мотивов ученые следовали и следуют задачам своих собственных исследований: если для одних важным признаком в определении мотива служит его формальная повторяемость, то для других — его оригинальность и единичность (что идет в противовес всей традиции рассуждения о мотиве, где мотив — это всегда нечто повторяемое). Докладчик привел пример полемики К. Леви-Стросса и В. Проппа, центральный вопрос которой: говорим ли мы, имея ввиду мотив, о разнообразии или о сходстве? Если до формализма, писал Леви-Стросс, было неизвестно, что общего имеют сказки, то после него не осталось никакой возможности понять, чем они различаются.

Значение мотива, полагает докладчик, близко к понятию «мозаичная культура» А. Моля. Мир, в котором мы живем, — мир непересекающихся контекстов, где можно читать свои книги, смотреть свое кино, жить в своей сфере. «Что же делать в этой ситуации? Думаю, объяснить свой выбор. Мне кажется, мотив — это и есть объяснение выбора», — резюмировал докладчик.

После доклада Ирина Прохорова задала вопрос относительно мозаичной культуры: не можем ли мы считать, что расцвет информационного пространства не создал мозаичную культуру, а создал условия для выявления ее мозаичности, которая и была присуща ей изначально? Была ли большая монолитность в советское время или иллюзию гомогенности создавала идеология? Докладчик согласился с тем, что технические изобретения позволяют нам посмотреть на прошлое в более сложной перспективе и, в сущности, это то, что успешно делает Евгений Добренко, когда, с одной стороны, представляет сталинскую культуру проекцией бесчеловечного режима, а с другой — говорит о его сложности.

Елена Трубина (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) выступила с докладом «Тридцать лет академической урбанистики в постсоветской России: между фундаментальным и прикладным», продолжив разговор о рефлексии организационных и институциональных моментов науки, начатый в докладах Екатерины Болтуновой и Николая Ссори́на-Чайкова. Темой доклада стал контраст между академическими и прикладными аспектами урбанистики, связь между университетами и урбанистическим знанием. Популярность городской проблематики в России все эти тридцать лет нарастала, что выражалось в открытии соответствующих направлений в вузах по всей стране. В условиях гонки за эффективностью популярное «прикладное» поле урбанистики стало для университетов удобным способом просигнализировать свою полезность. Среди урбанистических магистратур Елена Трубина особо отметила те, которые попытались соединить гуманитарные и социальные знания — историю и урбанистику. Как показывает докладчица, нередко необходимость наращивания прагматической эффективности приводит к доминированию в образовательных программах практических аспектов над теоретическими. В числе проблем, с которыми сталкивается сегодня урбанистическое образование в России, докладчица назвала также отсутствие академической урбанистики в уществующей номенклатуре учебных и научных дисциплин. Кроме того, урбанистика в нашей стране главным образом преподается в магистратуре, в отличие от зарубежных специализированных департаментов, где студенты начинают обучаться дисциплине с первого курса. Это позволяет западным университетам органично включать гуманитарный компонент в более прикладные по своему характеру курсы и знакомить студентов с критическими социальными исследованиями. Елена Трубина завершила свое выступление прогнозом, согласно которому в ближайшее время в урбанистике произойдет переход от брендинга и его исследований в сторону более насущных и серьезных вещей и прежде всего руин, восстановления, реставрации. Можно с уверенностью сказать, заключила докладчица, что города Армении, Казахстана, Киргизстана, Грузии, Турции выйдут на передний план как поле приложения сил тех, кто прямо сейчас осваивает новые тактики и стратегии осмысленного существования.

В ходе дискуссии Константин Богданов спросил докладчицу, чего бы она хотела от урбанистики — написания ли новых книг, переустройства ли городской жизни? Какова может быть цель этой дисциплины? Елена Трубина ответила, что хотела бы большего вхождения российского материала и российских авторов в международный контекст. Докладчица отметила, что под давлением «тирании показателей» эффективности, которая распространилась в современных университетах, весьма большая группа российских авторов успешно вошла в международные академические сети. При этом, как правило, вхождение в глобальный контекст для неанглоязычных исследователей начинается с конструирования кейсов, которые ученый должен обрмить в подходящие географические, социологические и урбанистические теории, занимаясь, по сути «переводом» случаев на язык аргументов, понятных зарубежным авторам. По оценке докладчицы от такого конструирования эмпирических исследований до претензии на работу в поле теории, уходит примерно пятнадцать лет. Докладчица с сожалением констатировала, что сложившуюся сейчас ситуацию можно описать как «прерванный полет». С таким выводом согласилась и Ирина Прохорова, подытожив, что это проблема не только урбанистики — последние тридцать лет российские гуманитарии добивались того, чтобы на общих основаниях, а не в качестве экзотизированных субъектов войти в международное поле.

В заключение конференции выступил Михаил Ямпольский (Нью-йоркский университет, США) с докладом «Культура и риторика». Докладчик отметил, что

молодость его прошла под знаком семиотики, но только сейчас он начинает осознавать корни семиотики, о которых раньше не думал. Семиотика как наука о производстве универсальных смыслов через оппозиции (природа/культура, сырое/вареное), возникла в конце 1930-х годов и стала отражением определенного типа политической культуры (в том числе нацизма, который складывался в это время в Германии). Последние же остатки ее авторитета разрушаются вместе с падением Берлинской стены и разрушением мира, который строился на оппозициях: нацистские арийцы/семиты, марксистский пролетариат/буржуазия. Исчезновение идеологии, связанное с глобализацией, привело к доминированию экономики. В то же время в отсутствие смысла (а экономика не способна порождать больших смыслов) власть стала ослабевать во всем мире. В ответ на крушение бинарных оппозиций возникли разные интеллектуальные модели: «différance» у Деррида, «интенсивность» у Делеза. Риторика, будучи способом организации смыслов через бесконечную систему подобий, переносов, риторических сближений, по мысли докладчика, также становится важной в этот момент. В отличие от семиотики риторика работает не в области оппозиций, а в области антиномий — того, что не может быть сближено и не может быть разрешено. Фактически она связывает несвязываемое.

Сегодняшнее трагическое событие неожиданно и невероятно решительным образом восстановило семиотику. Экономика с ее интересами отступила, и на ее место вернулась упрощенная бинарная модель мира. Мир вошел в стадию ясности, но ядро, которое создает этот смысл, абсолютно бессмысленно. Попытки объяснить это событие оборачиваются фантазмами, обращением к метафизическим причинам битвы добра и зла и риторически оформляются в сюжет воплощения абсолютного зла. Не случайно, добавляет Ямпольский, последнее десятилетие в культуре проходит под знаком инфантильного жанра фэнтези. Построенный на оппозиции добра и зла, этот жанр выдвигается на первый план тогда, когда кончаются идеологии.

Докладчик обратился к исследованиям одного из направлений современной антропологии, согласно которым риторика является основанием культуры, а механизмы последней укоренены не во внятную систему смыслов и верований, а в ритуалы. Ритуал в рамках риторической антропологии противопоставляется идее текста как носителя смысла. Традиционным обществам, где индивидуальная рефлексия снижена, свойственна бесконечная театрализация жизни. Участники этих театрализованных действий — одновременно и зрители, и артисты, — демонстрируют друг другу то, что американский антрополог Виктор Тёрнер назвал «перформативной рефлексивностью»: люди взаимодействуют через ритуалы, непрерывный перформанс, формулируя собственную идентичность и культуру. Ритуал как перформанс выполняет важную с точки зрения риторики задачу: делает речь значимой при отсутствии смысла. Когда в обществе начинают возникать какие-то ритуалы (что можно, в том числе, видеть на примере современной российской культуры) — это первый признак того, что общий смысл, который витает над этими ритуалами не имеет ни малейшего значения.

В дискуссии после доклада Константин Богданов согласился с тем, что риторика и смысл трудносоотносимы. Но риторика риторике рознь, сказал он. Например, в русской риторике XVI—XVII веков судебное и совещательное красноречие отсутствует, а есть только торжественное консолидирующее красноречие (оно отчасти наследуется и современным публичным дискурсом). В этой связи Богданов предложил докладчику говорить не о риторике вообще, а о специфическом типе риторики, которая в разных сообществах и ситуациях работает по-разному. Докладчик уточнил, что он говорит не о риторике Цицерона или Квинтилиана, а о риторике как попытке сформулировать подход к культуре вне семиотики. Риторика представляет собой бесконечный набор практик, она находится за пределами грамма-

тики, логоса, логики. Это не теория, а чистая практика говорения, сочетающая несочетаемое, и она нуждается в ритуализации, которая создает иллюзию смыслов там, где смыслов нет. В этом отличие риторики от развитых идеологий, среди которых, например, расовые теории или марксизм.

Сергей Зенкин задал вопрос, связано ли катастрофическое возвращение истории с необходимостью мыслить в диалектической перспективе (ведь с антиномиями работает именно диалектика, а не риторика, уточнил он). Докладчик ответил, что диалектика, с его точки зрения, — это самое ухищрение разума, из которого вырастают все семиотические модели, уравнивающие все на свете. Его же интересует «настоящая», несводимая антиномия, восходящая к Канту, а не к Гегелю, который с помощью синтеза извлекает смысл.

Елена Трубина задала вопрос о позиции интеллектуала и пользе, которую он может принести произносимыми сегодня речами и текстами. Докладчик ответил, что ему понятна упрощенная позиция (попытка описать происходящее с помощью простых оппозиций борьбы добра и зла и др.), которая захватила в том числе интеллектуалов, но ему трудно испытывать восторг от бесконечного упрощения мира вокруг. На его взгляд, функция интеллектуала — иметь дело со сложным и единственной его задачей — это думать. Возникает ощущение, что сейчас самое время для рефлексии и одновременно самое неподходящее время для рефлексии — состояние антиномии как невозможности свести все вместе, что ведет к установлению молчания.

Евгений Добренко высказался о том, что все риторические формулы, которые слышатся сегодня, не производят никакого радикально нового знания, с чем докладчик согласился. Но, добавил Ямпольский, любопытно, что эта идеологическая машина направлена в прошлое. В обществе существует два типа обоснования: один связан с универсальными принципами (например, с правами человека), которые имеют как бы натуральное основание; второй тип связан с историей, к которой обращаются, чтобы обосновать неравенство, несправедливость. Все фрагменты дискурсов, которые звучат сегодня в официальной риторике, хорошо знакомы, но они не складываются в общую идеологию.

Ирина Прохорова не согласилась с последним утверждением, сказав, что у современной идеологии прослеживается вполне жесткое ядро со своей логикой. Проблема как раз у интеллектуалов, которые не могут противопоставить сколько бы то ни было целостный контртезис, а лишь говорят о бесконечной сложности. Острая нехватка у людей идеологии, национальной идеи, потребность в проекте будущего — все это трансформировалось в мобилизацию, в идею поддержки, помощи.

Также Прохорова отметила проблему отсутствия аналитического языка в разговоре о чудовищном, который часто подменяется художественными формами: не является ли фэнтези наиболее адекватным языком для разговора о невыразимом ужасе, а в сложившихся условиях и наиболее удачной попыткой помочь людям занять моральную позицию, одновременно не перегружая разговорами о том, что все сложно? Михаил Ямпольский согласился, что фэнтези дает инструментарий для осмысления, приписывая кому-то функции метафизического зла, но без какой бы то ни было аналитики, поэтому не представляет собой убедительной объяснительной модели.

Ревизия последних тридцати лет развития гуманитарного знания в России, проведенная за время «Баннх чтений», показала, что современная отечественная гуманитаристика обладает многообразием оптик, большим арсеналом подходов, исследовательских фокусов. Вместе с тем в сложившейся ситуации остро ощущается необходимость радикальных изменений всех областей, которые имеют отношение к исследованиям русистики. Как отмечали многие участники конференции,

интеллектуальное академическое сообщество переживает сегодня чувство неразрешимого противоречия: неспособности говорить и невозможности молчать. Наверное, лучше всего передает это ощущение понятие антиномии, прозвучавшее в докладах Михаила Ямпольского и Ирины Сандомирской. В то же время понятия «негативной диалектики» из доклада Кевина Платта и «негативной способности» у Татьяны Венедиктовой дают надежду на то, что состояние противоречия хотя и не может быть разрешено, но должно быть пережито, потому что это и есть уже самый ценный опыт. Другой лейтмотив, прошедший через всю конференцию, — идея, озвученная Сергеем Зенкиным, о том, что научное слово должно не только говорить о действии, но и само являться действием. Эта тема по-своему раскрылась во внимании к материально-технической среде как важной составляющей коммуникативного успеха у Павла Арсеньева, в поиске отечественных альтернатив представлениям о перформативности слова у Олега Хархордина, в обнаружении освобождающего потенциала моды на круглом столе теоретиков моды и демократизирующей силы исторической памяти, о которой говорил Александр Семенов. Все эти сюжеты так или иначе связаны с еще одним важным вопросом конференции: как академическим интеллектуалам обрести голос в публичном пространстве при этом сохранив автономность суждения и способность донести рассказ во всей его сложности и многообразии. «Возможно, единственный проект нашего будущего, — подытожила Ирина Прохорова в финале конференции, — это поиск языка и нового инструментария для понимания настоящего и прошлого».

Надежда Крылова